

мир. На частных примерах Толстого и Ницше — первого, укрывшегося от бездн философского сомнения под гостеприимную сень самоудовлетворенного проповедничества, — и второго, более смелого в своем искании, часто выдерживавшего весь свет божественных лучей, но, в сущности, также заслонившегося экраном с «этическим» девизом «*Üebermensch*», — на этих ярких современных явлениях показывает г. Шестов относительное могущество и значение критерия истины и добра в нашем мирозерцании.

Поднятые им вопросы заслуживали бы долгой и сложной беседы, которой здесь, конечно, не место. В тесных рамках журнальной рецензии нам хотелось только наметить главный, на наш взгляд, нерв писателя, насколько он сказался в этом его опыте. Не можем, однако, не указать также на прекрасное, вполне независимое отношение г. Шестова к избранным им писателям. Такого спокойного, достойного тона по отношению к Толстому и такой чуткой добросовестности по отношению к Ницше мы почти не запомним в текущей нашей литературе, где холопство перед первым и заушения по адресу второго сделались обычными явлениями (вплоть даже до иных наших философов включительно). Между тем, рано или поздно, придется же изменить точку зрения на гениального немецкого философа, нам, правда, пока почти неведомого.

**М. Х.**

## **Л. Шестов. «Достоевский и Ницше» (Философия трагедии)**

Книга Шестова очень любопытна, несмотря на растянутость изложения, массу отступлений в сторону. Сопоставление Достоевского и Ницше не ново, и Шестов не старается доказать его, а берет это уже как факт. Очень оригинально и смело объяснение «христианского» мировоззрения Достоевского. По мнению Шестова, Достоевский по своему существу есть «подпольный» человек, это сам Раскольников, Иван Карамазов и т. п., а вся его положительная мораль — это симуляция или самообман, в лучшем случае. «Записки из подполья» — это было публичное, хотя и не открытое отречение от всего прошлого. С этого времени Достоевский переродился, и вся его дальнейшая литературная деятельность была направлена на то, чтобы рассказать правду подпольного человека, рассказать свои сомнения в тех идеалах, которые считаются незыблемыми, святыми. «До Достоевского никто не осмелился высказывать такие мысли, хотя бы и с соответствующими

примечаниями. Нужно было великое отчаяние для того, чтобы такие мысли возникли в человеческой голове, нужна была сверхчеловеческая дерзость, чтобы явиться с ними перед людьми» (стр. 50). При таких условиях он терял связь с людьми. И Достоевский понимал, что «ведь надобно же, чтобы всякому человеку хоть куда-нибудь можно было пойти». «Вот на этот случай, — говорит Шестов, — и требуется общепринятый мундир, ведь не явиться же на люди со словами подпольного человека, с преклонением пред каторгой, со всеми “оригинальными” мыслями, наполнявшими голову Достоевского. Люди такого ближнего не захотят слушать, прогонят. Людям нужен идеализм, во что бы то ни стало. И Достоевский швыряет им это добро целыми пригоршнями, так что под конец и сам начинает временами думать, что такое занятие и в самом деле чего-нибудь да стоит. Но только временами, чтобы потом самому же посмеяться над собой» (стр. 112). Чем глубже расходился с обычными идеалами, «тем истеричнее выкрикивал он их» (стр. 56).

Несомненно одно, что Достоевский глубоко проник в ту часть нашей души, которая не хочет подчиниться совести и разуму. Все идеалы, все запросы морали, которые поставил Ницше, переживались и переживались глубоко Достоевским. Но это был «бес», который мучил его и с которым он не мог согласиться, так как в душе он переживал еще другое, совершенно противоположное, мировоззрение и переживал его глубоко, как это видно на его образах Сони, Алеши и др., как это видно на его публицистических статьях. В душе Достоевского действительно жили *две* души: одна рвалась к небесам, другая хотела здесь на земле жить. Обладая живым темпераментом, Достоевский не мог жить одной теорией, и для жизни ему необходимы были свои положительные идеалы, и он их чувствовал так же сильно, как и противоположные. Достоевский переживал в себе действительно и мораль обыденности и мораль трагедии.

В своей книге Шестов старается вникнуть в психологию перерождения Достоевского, но это не удалось ему. Так, разрыв Белинского с Достоевским он объясняет тем, что Достоевский почувствовал непоследовательность в Белинском. «Познается, — говорит в одном месте Достоевский, — что самый забитый, последний человек есть тоже человек и называется брат твой». Это были первые идеи, с которыми вступил Достоевский на литературное поприще. Выразителем этих идей тогда был главным образом Белинский. Последний стремился, по крайней мере в литературе, провозгласить «декларацию прав» человека. Белинский понимал все-таки, что «естественный порядок вещей» смеется над гуманностью. Отсюда его письмо к Гоголю, в котором он требует отчета за «каждого брата по крови». Это значило, что противоречие ему уже выяснилось и что гуманность его уже больше не удовлетворяла. Достоевский же этого не понимал, не мог понять,

и в результате «без важных причин» ученик разошелся с учителем. Это, по-нашему, не так. Достоевский и Белинский — это две глубоко противоположные натуры. Белинский был революционером в душе. Достоевский же никогда им не был, хотя и увлекся в Белинском именно его революционностью или, вернее говоря, его верой в революционность. И так как по складу своего характера и воспитания Достоевский был другой человек, то он не мог себя чувствовать в среде Белинского своим. Стоит прочесть опубликованный года два тому назад один из протоколов Достоевского по делу петрашевцев, чтобы увидеть, как разнился Достоевский от своего учителя. Достоевский не изменил своих взглядов, а только провозгласил их потом, а они у него были, если хотите, с детства. «Бедными людьми» и Алешей Карамазовым мост построить очень легко. Христианская мораль была вынесена Достоевским еще из дому, и, по-видимому, она глубоко въелась в него, потому что потом, когда его искушал другой моральный бес, он не мог выкинуть из своей души своих верований.

Книга Шестова заслуживает прочтения уже по одному тому, что она заставляет нас переживать Достоевского. А это оригинальнейший и глубочайший писатель не только земли Русской. Несмотря на то, что он всегда хотел быть русским или, вернее, даже православным христианином, его произведения более международны, чем других корифеев нашей литературы. Оценка Достоевского еще не дана. Его лира звучит теперь сильнее, чем когда-либо. Горький, Андреев — все это ближайшие родственники Достоевского<sup>1</sup>.

## **М. ГОЛЬЦЕВ**

### **Л. Шестов. Достоевский и Ницше (Философия трагедии)**

Автор этой книги принадлежит к числу наших «новых» полуфилософов, полукритиков. Этот жанр, наиболее талантливым представителем которого является г. Мережковский, культивируется по преимуществу в «Мире Искусства»<sup>1</sup>, в котором предварительно печатались и очерки г. Шестова. Среди своих коллег г. Шестов выделяется очень симпатичными чертами. В нем чувствуется несомненная искренность, способность к философскому мышлению, без тех ужимок и фокусов, которые усвоили себе новые «жрецы» литературной критики. Прорицательский тон, страсть искать повсюду аналогий и сопоставлений, часто чисто внешних, и потом глубокомысленно стараться находить таинственный смысл в этих сопоставлениях — эта литературная манера, которой